



## Глава 1

Я, пишущий эти строки, — мертвец. Я мертв совершенно официально, в полном соответствии с законом, я умер и похоронен. Расспросите обо мне в моем родном городе, и вам ответят, что я стал одной из жертв холеры, бушевавшей в Неаполе в 1884 году, и что мои бранные останки покоятся в родовом склепе моих предков. Но все же — я жив! Я чувствую, как в моих жилах струится горячая кровь, что текла в них тридцать лет, кровь, придающая сил мужчине в расцвете сил. Она делает мой взгляд острым и зорким, мышцы становятся крепкими, словно сталь, руки обретают железную хватку, а тело — стройную и гордую осанку. Да! Я жив, хоть и объявлен мертвым, жив и преисполнен сил. И даже скорбь и невзгоды не оставили на мне следов, за исключением одного. Мои волосы, некогда иссиня-черные, сделались белыми, как снег на склонах Альп, хотя густые кудри выются, как прежде.

— Что-то наследственное? — спрашивает один врач, осматривая мои побелевшие локоны.

— Внезапное нервное потрясение? — предполагает другой.

— Длительное пребывание на палящем солнце? — намекает третий.

Никому из них я не даю ответа. Однажды я ответил на подобный вопрос. Я поведал свою историю человеку, с которым познакомился совершенно случайно, — известному своими успехами в медицине и добротой. Он выслушал меня до конца с явным недоверием и тревогой и намекнул на возможность моего сумасшествия. С тех пор я никому ничего о себе не говорю.

Однако теперь я пишу. Я нисколько не опасюсь преследований и могу безбоязненно изложить всю правду. Я могу обмакнуть перо в собственную кровь, если захочу, и никто не посмеет мне помешать! Ибо меня окружает зеленое безмолвие бескрайних тропических лесов Южной Америки — величественное и непоколебимое безмолвие девственной природы, почти не тронутой безжалостной поступью человеческой цивилизации, обитель чудесного спокойствия, едва нарушаемого трепетом крыльев и нежным пением птиц, а также тихим шепотом или грозным ропотом играющих в небесах вольных ветров. Я обитаю внутри этого волшебного круга, и здесь я возношу ввысь свое отягощенное сердце, словно наполненную до краев чашу, которую потом изливаю на землю до последней капли содержащихся в ней желчности и злобы. Мир должен узнать мою историю.

«Мертв — и в то же время жив! Как такое возможно?» — спросите вы. Ах, друзья мои! Если вы хотите быть уверены, что действительно избавились от своих умерших родственников, вам следует их кремировать. Иначе никому не ведомо, что может произойти! Кремация — лучший и единственно верный способ. Это чистая и *безопасная*

процедура. Отчего против нее должны существовать какие-то предубеждения? Разумеется, лучше предать останки тех, кого мы любили (или делали вид, что любили), очищающему огню и свежему воздуху, нежели поместить их в холодный каменный склеп или же опустить в сырую вязкую землю. Ведь в глубокой могиле таятся омерзительные твари — существа гадкие, о которых не принято говорить: длинные черви, осклизлые особи с незрячими глазами и ненужными крыльями, уродливые отбросы мира насекомых, рожденные в ядовитых испарениях. Существа, самый вид которых может вызвать у вас, о изнеженная дама, приступ истерики, а вас, о крепкий мужчина, заставит содрогнуться от отвращения! Однако существует нечто худшее, чем чисто природные явления ужасного свойства, сопутствующие так называемому «христианскому» погребению, и это ужасная неуверенность и неопределенность. Что, если после того, как мы поместили прочный гроб с останками горячо любимого покойного родственника в склеп или же опустили его в яму в земле, после того как носили подобающие траурные одежды и придавали нашим лицам должествующее выражение тихой и смиренной печали, — что, спрашиваю я, если после всех этих мер, должных обеспечить надежность и безопасность, они окажутся на самом деле недостаточными? Что, если в узилище, куда мы заключили горько оплакиваемого усопшего, двери окажутся не столь крепкими, как мы наивно полагали? Что, если прочный гроб развалится под натиском исполненных ярости и неистовства пальцев и наш покойный дорогой друг окажется *не* мертв,

а, подобно библейскому Лазарю, воскреснет, дабы снова требовать от нас привязанности? Разве нам тогда не суждено будет горько пожалеть о том, что не удалось прибегнуть к надежному и испытанному методу кремации? Особенно если мы приобрели земные блага или деньги, оставленные нам столь заслуженно оплакиваемым усопшим! Ибо мы суть обманывающие себя лицемеры — не многие из нас искренне скорбят по мертвым и чтят их память с истинной нежностью и любовью. И все же, видит Бог, они могут нуждаться в куда большем сочувствии, нежели мы себе представляем!

Однако позвольте мне вернуться к тому, что я должен исполнить. Я, Фабио Романи, недавно скончавшийся, намерен подробно изложить череду событий одного недолгого года, года, вместившего муки и страдания, которых хватило бы на целую жизнь! Всего лишь год! Один стремительный удар кинжала Времени! Он пронзил мое сердце, и незаживающая рана по-прежнему кровоточит, и каждая капля крови падает на землю позорным пятном!

Одной тяготы жизни, столь близкой многим, я никогда не испытывал — бедности. Когда мой отец, граф Филиппо Романи, скончался, оставив меня, тогда семнадцатилетнего юношу, единственным наследником своего огромного состояния и единственным главой знатного рода, нашлось множество друзей с самыми искренними намерениями, которые со свойственной им добротой пророчили мне самое мрачное будущее. Попадались даже такие, кто ожидал моей физической и моральной гибели с некоторой степенью злорадного предвкушения, — и при этом они являлись поря-

дочными людьми. Они пользовались уважением и располагали обширными связями, их слова имели вес, и некоторое время я сам являлся предметом их злонамеренных страхов. Согласно их измышлениям, меня ожидала участь азартного игрока, расточителя, пьяницы и неисправимого женолюба самого распутного свойства. Тем не менее, как это ни странно, я не стал подобным субъектом. Хотя я и был неаполитанцем со свойственными уроженцам нашего края пламенными страстями и вспыльчивостью, однако я испытывал врожденное презрение к низменным порокам и отвратительным необузданным страстям. Игра казалась мне помутняющей рассудок глупостью, пьянство — разрушителем здоровья и разума, а безнравственное мотовство — издевательством над бедняками. Я сам выбрал себе образ жизни — нечто среднее между простотой и роскошью, здоровое совмещение домашнего уюта с приятными светскими увеселениями, размеренное существование с соблюдением разумных пределов, которое не утомляло ум и не вредило телу.

Я жил на отцовской вилле, в миниатюрном дворце из белого мрамора, стоявшем на лесистом холме с видом на Неаполитанский залив. Мой уголок для игр и развлечений окаймляли благоухающие апельсиновые и миртовые рощи, где сотни голосистых соловьев возносили свои любовные трели к золотистой луне. Искристые фонтаны били в огромных каменных бассейнах, украшенных изысканной резьбой, и их прохладный шепчущий плеск освежал горячее безмолвие жарких летних дней. В этом тихом пристанище я мирно прожил

несколько счастливых лет, окруженный книгами и картинами, часто принимая друзей — молодых людей, чьи вкусы более или менее совпадали с моими и кто мог в равной мере по достоинству оценить и древний фолиант, и букет и аромат дорогого вина.

Женщин я видел редко или не видел их вовсе. Сказать по правде, я подсознательно их избегал. Родители дочерей на выданье часто приглашали меня в гости, но я по большей части отклонял подобные приглашения. Любимые книги предостерегали меня касательно женского общества, и я верил и следовал этим предостережениям. Подобное поведение вызывало насмешки со стороны тех моих друзей, которые предавались любовным похождениям, однако их веселые шутки о том, что они называли моей «слабостью», нисколько меня не задевали. Я верил в дружбу куда сильнее, чем в любовь, и у меня был друг, за которого в то время я бы с радостью отдал жизнь и к которому испытывал самую глубокую привязанность. Он, Гвидо Феррари, тоже иногда присоединялся к добродушному подшучиванию, которое я вызывал своей неприязнью к женщинам.

— Да полноте, Фабио! — восклицал он. — Не испытать тебе полноты жизни, пока ты не вкусишь нектара розовых губ! Не разгадать тебе тайны звезд, пока ты не погрузишь свой взор в бездонную глубину глаз юной девы! Не познать тебе блаженства, пока ты не сомкнешь жарких объятий на тонкой талии и не услышишь биения охваченного страстью сердца в такт своему! Оставь заплесневелые фолианты! Поверь, во всех этих древних мрачных

философах не было ни капли мужского, в их жилах текла не кровь, а водица, а их клевета на женщин являла собой лишь вздорную болтовню, порожденную их же заслуженными неудачами и разочарованиями. Лишенные главной радости жизни станут охотно убеждать других, что к ней не стоит стремиться. Что же, друг мой! Ты, наделенный остроумием, сверкающим взором, веселой улыбкой, гибким телом, — и не пополнишь ряды влюбленных? Что там говорит Вольтер о слепом божестве?

Кто бы ты ни был — вот твой властелин,  
В минувшем, настоящем иль грядущем!

Когда мой друг наставлял меня подобным образом, я улыбался, но ничего не отвечал. Его доводы не убеждали меня. Но все же я любил его слушать — голос его звучал мягко и нежно, как пение дрозда, а глаза говорили куда красноречивее слов. Видит Бог, я любил его! Бескорыстно, искренне, с той редкой нежностью, с которой дружат школьники, но которая нечасто свойственна зрелым мужчинам. В его обществе я был счастлив, а он, казалось, — в моем. Мы проводили вместе большую часть времени, он, как и я, в отрочестве лишился родителей и поэтому сам строил свою жизнь в соответствии со своими вкусами и желаниями. Своим занятием он выбрал искусство и, хоть и стал довольно успешным живописцем, был столь же беден, как я богат. Я старался различными способами исправить эту ошибку судьбы с должной предусмотрительностью и деликатностью и обеспечивал ему столько заказов, сколько мог, не возбуждая в нем подозрений и не уязвляя его гордость. Ведь он ис-



пытывал ко мне сильную привязанность — наши вкусы и пристрастия во многом совпадали, и я не желал себе ничего большего, чем пользоваться его доверием, дружбой и преданностью.

В этом мире никому, пусть даже самому безобидному существу, не позволено постоянно оставаться счастливым. Судьба — или же ее прихоть — не может наблюдать нас в длительном состоянии покоя. Достаточно чего-то совершенно обыденного — взгляда, слова, прикосновения, — и вот! Крепкие узы давних привязанностей оказываются разорванными, и спокойствие, представлявшееся нам столь незабываемым и нерушимым, наконец заканчивается. Подобные перемены произошли со мной, как, конечно же, происходят и со всеми. Однажды — как хорошо я это помню! — душным вечером мая 1881 года я был в Неаполе. День я провел на своей яхте, лениво и медленно плавая по заливу, держа курс по слабому ветерку. Из-за отсутствия Гвидо (он на несколько недель отправился в Рим) я пребывал в некотором одиночестве и, когда мое легкое судно уже заходило в гавань, испытывал какую-то задумчивость и неуверенность, которые вскоре сменились подавленностью. Несколько матросов, составлявших экипаж моего парусника, разбрелись кто куда, как только сошли на берег, — каждый направился в свои любимые места развлечений или пороков, — но я был не в том настроении, чтобы веселиться. Хотя в городе у меня имелось много знакомых, мне были не по душе те удовольствия, которые они могли мне предложить. Я неспешно шагал по одной из главных улиц, размышляя, не возвратиться ли мне пешком в свой дом на холме,

как вдруг услышал пение, а вдали разглядел мелькавшие белые одежды. Стоял май, месяц Пресвятой Девы, и я сразу заключил, что ко мне, очевидно, приближается крестный ход в ее честь. Частью от скуки, частью из любопытства я остановился и стал ждать. Поющие голоса звучали все ближе, я увидел священников, псаломщиков, раскачивавшиеся золотые кадила, полные ладана, горящие свечи, белоснежные одеяния детей и девушек — и затем внезапно вся живописная красота процессии закружилась у меня перед глазами сверкающим яркими красками пятном, из которого на меня глядело одно лицо! Лицо, сияющее, как звезда, из пышного облака длинных янтарных локонов. Лицо с легким румянцем и нежное, как у ребенка, совершенно очаровательное, освещенное двумя лучащимися глазами, большими и темными, как ночь. Лицо, на котором изящно изогнутые губы улыбались наполовину дразнящей, наполовину сладкой улыбкой! Я не отрываясь смотрел на него, пораженный и взволнованный — красота делает всех нас такими глупцами! Это была женщина — представительница той половины, которой я не доверял и которую избегал, — женщина в самом начале цветения юности, девушка пятнадцати или, самое большее, шестнадцати лет. Ее вуаль завернулась назад случайно или по намерению, и на один недолгий миг я окунулся в соблазняющий душу взгляд и колдовскую улыбку! Процессия прошла, видение исчезло, но в тот краткий миг прежняя эпоха моей жизни навсегда завершилась и началась новая.

Разумеется, я на ней женился. Мы, неаполитанцы, в таких вопросах времени не теряем. Нам не

хватает благоразумия. В отличие от холодной крови англичан, наша быстро струится по жилам, она горяча, как вино или солнце, и не нуждается в надуманных стимулах. Мы любим, мы желаем, мы обладаем, а затем? Мы устаем, скажете вы? Эти южные народы так непостоянны! Вовсе нет — мы устаем гораздо меньше, чем вы думаете. А разве англичане не устают? Разве их не одолевает тайная тоска, когда они сидят в укромном уголке своего «дома, милого дома» с растолстевшими женами и все время прибавляющимся семейством? На самом деле — да! Однако они слишком осторожничают, чтобы сказать об этом вслух.

Нет нужды излагать историю моего ухаживания — оно было недолгим и упоительным, как превосходно исполненная песня. Препятствий никаких не возникло. Девушка, чьей руки я добивался, была единственной дочерью разорившегося флорентийского дворянина с мотовским характером, который едва сводил концы с концами, испытывая судьбу за игровым столом. Дочь его воспитывалась в монастыре, известном своей строгой дисциплиной, и ничего не знала о мирской жизни. Она была, как уверял меня расчувствовавшийся до слез родитель, «невинна, словно цветок на алтаре Мадонны». Я поверил ему: ибо что могла эта прекрасная юная дева с тихим голосом знать даже о некоей тени зла? Мне не терпелось сорвать эту дивную лилию для своего горделивого обладания, и ее отец радостно вручил мне ее, без всякого сомнения в душе поздравив себя со столь состоятельной партией, которая досталась его дочери-бесприданнице.

Мы поженились в конце июня, и Гвидо Феррари почтил нашу свадьбу своим милым и учтивым присутствием.

— Клянусь Бахусом! — воскликнул он после окончания брачной церемонии. — Мое учение пошло тебе на пользу, Фабио! В тихом омуте черти водятся! Ты проник в шкатулку Венеры и выкрал оттуда драгоценнейший камень! Ты отыскал самую прекрасную девушку в Королевстве обеих Сицилий!

Я сжал его руку и ощутил слабые угрызения совести, поскольку он перестал занимать главное место в моей жизни. Я почти пожалел об этом. Да, в первое утро после женитьбы я оглянулся на былые дни — уже далекие, хоть и недавние — и со вздохом понял, что они закончились. Я взглянул на Нину, свою жену. И этого было достаточно! Ее красота ослепляла и поражала меня. Тающее томление ее огромных лучистых глаз будоражило мне кровь — я забывал обо всем, кроме нее. Я пребывал в возвышенном бреде страсти, где любовь, и только любовь, является основой мироздания. Я возносился на самые вершины блаженства, где дни текли праздниками в сказочной стране, а ночи — снами восторга наяву! Нет, я не знал усталости! Красота моей жены не пресыщала меня, наоборот, она с каждым днем становилась все прекраснее. Я никогда не замечал в ней иных качеств, кроме привлекательных, и через несколько месяцев она досконально изучила все грани моего характера. Она обнаружила, что нежными взглядами могла подчинить меня своей воле и превратить в преданного раба, она управляла моей слабостью, превра-

тив ее в свою власть надо мной. Она это прекрасно знала — а чего она не знала? Я терзаю себя этими глупыми воспоминаниями. Все мужчины старше двадцати лет успевают изучить различные женские уловки, милые и игривые приемчики, которые ослабляют волю и лишают сил даже самых стойких героев. Любила ли она меня? О да, полагаю, что так! Оглядываясь на те дни, могу откровенно сказать: я верил, что она любила меня, как любят своих мужей девятьсот жен из тысячи, а именно за то, что они могут от них получить. А я для нее ничего не жалел. И если мне хотелось боготворить ее и возносить до ангельских высот, тогда как она была всего лишь самой обычной женщиной, то это являлось моим недомыслием, которое нельзя было вменить ей в вину.

Мы зажили открытым домом. Наша вилла стала центром притяжения для сливок светского общества Неаполя и его окрестностей. Моя жена пользовалась всеобщим восхищением, а ее прекрасное лицо и изысканные манеры стали предметом обсуждения по всему городу. Мой друг Гвидо Феррари относился к тем, кто громче всех восхвалял ее достоинства, а возвышенное почитание, которое он проявлял по отношению к ней, еще больше расположило меня к нему. Я верил ему как брату, он приходил и уходил, когда ему было угодно, он дарил Нине цветы и изящные безделушки, приходившиеся ей по вкусу, и относился к ней с братской нежностью и добротой. Мое счастье представлялось мне абсолютным — у меня были любовь, богатство и дружба. А чего более может желать человек?

К сладости моей жизни добавилась еще одна капля меда. В первое майское утро 1882 года родился наш ребенок — девочка, прелестная, словно один из белых анемонов, что в ту пору росли в лесах, окружавших наш дом. Малышку принесли мне на тенистую веранду, где я сидел за завтраком вместе с Гвидо, — крошечный, почти бесформенный комочек, завернутый в мягкую кашемировую ткань и старые кружева. Я с нежным благоговением взял на руки хрупкое создание, малышка открыла глаза. Они были большие и темные, как у Нины, и, казалось, в их чистых глубинах все еще отражался свет неба, под которым ее вот-вот пронесли. Я поцеловал ее личико, Гвидо последовал моему примеру, и ясные тихие глазки посмотрели на нас со странной полувопрошающей торжественностью. Сидевшая на ветке жасмина птица затаила тихую нежную трель, подувший легкий ветерок заиграл белыми лепестками розы у наших ног. Я вернул младенца няньке, ожидавшей, чтобы забрать его, и с улыбкой сказал:

— Передайте моей жене, что мы поприветствовали ее майский цветок.

Когда нянька ушла, Гвидо положил мне руку на плечо. Лицо его сделалось необычно бледным.

— Ты славный парень, Фабио! — внезапно воскликнул он.

— Действительно! Что это вдруг? — полунасмешливо спросил я. — Я не лучше остальных.

— В тебе меньше подозрительности, чем в большинстве людей, — ответил он, отвернувшись от меня и лениво поигрывая веткой клематиса, вившейся по столбу веранды.